

Татьяна Злотникова*

МЫСЛЬ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ МИРА И ПЕРЕСОЗДАНИИ ЧЕЛОВЕКА**

ФИЛОСОФСКАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА

DOI: 10.17323/2587-8719-2023-3-266-277.

Диалогичность научной коммуникации — традиционно значимая особенность отечественной гуманитаристики. В связи с этим полагаем полезным и актуальным включиться в обсуждение вопросов, поставленных в статье С. А. Никольского, опубликованной ранее.

ЧАСТЬ 1. ВЧИТЫВАЯСЬ В РАССУЖДЕНИЯ С. А. НИКОЛЬСКОГО

Принимая к сведению главный посыл автора статьи — о двух социальных задачах, переустройстве общества и пересоздании человека, мы с уважением относимся к предложенному размаху представлений о названных процедурах. По сути, вся великая русская литература рассматривается как поле преобразований и переустройств. Такой охват представлений, с одной стороны, бесспорен, но, с другой стороны, там, где речь идет о конкретных авторах-персонах, вызывает сомнения и/или возражения. Отметим, что и более ранние публикации этого автора в разных аспектах раскрывали затронутую в данном случае проблематику в широком социально-философском контексте (Никольский, 2015).

Не спорим в отношении Фонвизина, но сомневаемся в отношении Гоголя: полагаем, что переустройство общества вообще не было его темой. А пересоздание человека вызывает вопросы: какого человека, столичного чиновника или сельского жителя, каким образом и, главное, зачем пересоздавать? На эти вопросы у Гоголя ответов нет, ибо они и не

*Злотникова Татьяна Семеновна, д. искусствоведения, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры культурологии, научный руководитель Национального исследовательского центра, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского (Ярославль), sij_yar@mail.ru, ORCID: 0000-0003-3481-0127.

**© Злотникова, Т. С. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

были им поставлены — даже в тех произведениях, о которых упоминает С. Никольский, будь то «Мертвые души» или «Выбранные места...».

Следуя за мыслью коллеги, продолжим полемически построенный историко-культурный дискурс. Весьма важные фигуры в связи с вопросом о социальных и личностных изменениях в России — Грибоедов («Горе от ума») и Пушкин («Капитанская дочка»). Полагаем, что у Грибоедова попытка пересоздания человека — это не интенция автора, а интенция его персонажа. А у Пушкина, о котором скажем еще далее, — кто подлежит пересозданию? Пугачев — разбойник и убийца? Швабрин — приспособленец и тоже убийца? Семейство Мироновых — тихие, законопослушные, вполне рамочные и потому для своей эпохи прекрасные люди? Или Гринев — едва сформированный юнец? Попытка же переустройства социума через резко осуждаемый «бунт» для Пушкина носит характер неприемлемой максимы.

С. Никольский оригинален в своем обращении к самым, так сказать, «спокойным» и «гармоничным» русским писателям — например к И. Тургеневу, в романной прозе которого современный философ видит развернутую проблематику «общественного переустройства»; у И. Гончарова же эту проблематику философ не видит «непосредственным исследовательским предметом». Идея пересоздания общества, на наш взгляд, у этого писателя отсутствует, Гончаров не страдает маниловщиной. Но эта идея, скорее, появляется у его персонажей. Только юный, а потому сверхнаивный Адуев-младший суетится поначалу, пытаясь чему-то служить и что-то полезное делать. Но — слаб, немощен, неумел... Обломов же — антиперестроечная фигура, он настолько цельный и по-своему прекрасный в этой цельности, что его менять не только невозможно, но и вовсе не нужно. И, между прочим, Штольц ведь не перестраивать, а сохранять существующий порядок как можно более определенно и сурово хочет. Все должно быть в соответствии с матрицей!

Что касается суждения С. Никольского о том, что Гончаров примыкает к основаниям критического реализма Тургенева, здесь не согласимся. Скорее не примыкает, а неактивно иллюстрирует невозможность перестроения, поскольку его персонажи очень близки к тургенивским, но если те ощущают неудовлетворенность жизнью и рефлексируют по этому поводу, то у Гончарова последовательно и отчасти неотвратимо погружаются в рутину, которая, вопреки современным нам представлениям, хороша и прекрасна, нежна и тепла, не требует изменений и преодоления. И тогда название тургениевского романа «Обрыв» воспринимается как ироническая метафора: можно подойти к краю (не

к нему ли подходили персонажи Островского — что Катерина, что Лариса), но остановиться, замереть на этом краю, не пытаться прыгнуть, тем более сорваться, совершить какое бы то ни было резкое движение.

Удивительное русское слово, входящее в лексикон тех, кто рассуждает о переустройстве социума или человека, — «пропасть». С каким ударением его произнести? Если на первом слоге, то это будет тот самый обрыв, в который можно сорваться и из-за этого разбиться, покалечиться, остаться там навсегда. Если на втором слоге, то это — глагол, который предполагает ужас травмы и исчезновения, страх гибели.

Как С. Никольский это называет, «новый исследовательский опыт» и новые основания рассмотрения проблематики общественного переустройства можно найти у Н. Г. Чернышевского в романе «Что делать? Из рассказов о новых людях», по поводу чего нет оснований и необходимости дискутировать. Продолжая номинативный ряд, обозначенный С. Никольским, отметим лишь свое — иное, чем у него, — понимание того, как выглядит проблематика переустройства еще у двух писателей-классиков.

Интересующий С. Никольского Лесков, как можно предположить, так или иначе соотносится с принципом переустройств. Правда, думаю, не в названном произведении («Некуда»), а совсем в другом, лубочном и, казалось бы, наивном — в «Левше». Попытка переустроить социум исходя из принципа здравомыслия, передавая государю призыв правильно чистить ружья (если правильно делать малое, то и большое будет развиваться правильно, не так ли?), — это наивный и мудрый принцип, вписанный в народное мировоззрение. Но принцип этот не находит воплощения в российской жизни и в художественной практике, о чем горюет Лесков.

Проблематика общественного переустройства у Ф. Достоевского, с нашей точки зрения, не видна или существенно трансформирована странностями человеческих характеров и миропонимания персонажей. У него скорее предстает антиперустройство. Попытки обсуждать переустройство, скажем, в «Бесах» — это намек на необходимость переустройства, но и уверенность в его невозможности. В «Идиоте» положительно прекрасный человек — это не продукт переустройства и не деятель, а случайный и «неправильный» персонаж.

Вряд ли, повторим, можно говорить в принципе о наличии идеи общественного переустройства у Л. Толстого, но скорее — о его недовольстве,

разочарованности, наконец, неприятию существующей действительности (в целом такой материал, обозначающий неудовлетворенность существующими реалиями, характерен, например, для новеллы «Утро помещика» — с убожеством быта и среды). Проблема перемен в человеке как источнике перемен в социуме — вот вопрос, который имплицитно присутствует у Толстого. Грязь и бесхозяйственность, нелепость и безответственность — вот тот жизненный контекст, который нуждается в замене порядком и добросовестностью. Повествуя о том, как выглядит в глазах молодого помещика деревня: о полусгнившем срубе и навозной «завалине», о густой гниющей соломе на крыше, о сочетании двух девочек и щенка — Толстой даже не декларирует, а эмоционально активно, тоскливо и безысходно «плачет» по поводу неустроенного мира.

Подводя предварительные итоги, С. Никольский называет завершенной работу с первоначально выдвинутой идеей общественного переустройства. Занявшись вопросами памяти и забвения, реформатирования памяти, соотношения памяти и идентичности, С. Никольский убедительно переводит достаточно конкретную проблему в куда более широкую плоскость, которую мы не беремся в настоящее время обсуждать. Ибо это — другой аспект проблемы и даже другая проблема. Мы только обращаем внимание на то, что вопрос трансформаций отдельного человека применительно к советской эпохе стоит в одном ряду с вопросом о переустройстве социума как государства и как системы. Так ли это, можно обсуждать отдельно, но принципиально важная не только для С. А. Никольского, но и для современного гуманитарного знания постановка вопроса — налицо.

ЧАСТЬ 2. РУССКИЕ ТВОРЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЕКТОРЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА

Обратим внимание на те явления (более того, феномены) русской культуры, о которых не сказано у С. Никольского, но которые либо обозначают тенденцию переустройства как необходимого и ожидаемого процесса, либо по разным причинам эту тенденцию отрицают, предостерегают от ее реализации.

Заметив, что в рассуждениях С. Никольского нет А. Чехова, полагаем, что без внимания к его миропониманию, выраженному, естественно, прежде всего в художественных текстах, а также в эпистолярном наследии, обойтись трудно. Нельзя обойтись без текстов, где не просто даются намеки, но обсуждаются возможности и необходимость социального переустройства: без рассказа «Невеста», без почти анекдотических

криков Пети Трофимова в «Вишневом саде» о будущем России. Без априори неосуществимых мечтаний Астрова в «Дяде Ване» о пересоздании России через экологически детерминированные действия. И, кстати, без гнева самого писателя, выраженного в письмах, в связи с началом Русско-японской войны зимой 1904 года.

С подачи С. Никольского, который, разумеется, выбрал для обсуждения наиболее значимые, с его точки зрения, фигуры и коллизии, мы видим возможность дополнить непротиворечиво сочетающийся с мыслями коллеги материал. Так, полагаем полезным упомянуть неоспоримо важное для отечественной культурной традиции произведение — «Бориса Годунова» А. Пушкина, где наделенный исторически глубоким мышлением писатель, который исследовал разные эпохи и события отечественной социально-культурной жизни (Пугачевский бунт, влияние Петра I на развитие страны и на жизнь частного человека), парадоксально изучил попытку правителя изменить не только страну, но и миропонимание ее населения. Пушкинская версия российской социально-политической практики, где «живая власть» ненавистна населению, а властитель наказан не за преступления, а за попытки произвести изменения в социуме, — это обоснованный и последовательный протест великого художника против необоснованных и непоследовательных попыток переустройства мира.

К литературной сфере, о которой написано у С. Никольского, полагаем возможным добавить упоминание о других сферах художественной культуры: о живописи и о музыке. Возможность и необходимость общественного пересоздания и «переустройства» человека в версии многих выдающихся русских творцов парадоксальны и разнообразны.

У русских художников возникают выразительные контрасты, отвещающие или подкрепляющие идею общественного переустройства. Богатыри, немислимых габаритов люди и их кони — у В. Васнецова, а рядом — нежнейшей духовности отроки и старцы у М. Нестерова. Мифологические, фольклорные мотивы дают надежду на сохранение гармонии. Но и здесь рядом оказываются уроды, которых пересоздавать невозможно, только — уничтожать (в том числе воссоздав их облик, дабы он не повторился в действительности). Даже не менять, а удалять их из жизни предлагали великие русские художники: эту нравственно непримиримую коллизию видим у В. Перова с его несчастными и слабыми, угнетенными и полными ощущения безнадежности «маленькими людьми», среди которых, как это ни ужасно, оказываются и выдающиеся творцы; видим у И. Репина толпы неприемлемо отталкивающих

персонажей («Чаепитие в Мытицах», «Крестный ход в Курской губернии»). Особенно же страшен социально острый мотив не столько переустройства, сколько ненависти и взаимного неприятия в противостоянии людей, вплоть до готовности убить, у И. Репина («Иван Грозный и сын его Иван...»), у Н. Ге («Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича...»), у В. Сурикова («Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова»). На основании рассмотрения названных произведений и тенденций следует признать: русская культура строилась на последовательно утверждавшемся понимании невозможности переустройства мира и при всем этом на трагической готовности к уничтожению людей во имя этого самого переустройства.

Особо значимы у русских живописцев портреты писателей, которые если и хотели кого-то пересоздать, сами к пересозданию своих личностей категорически не были готовы: этот мотив желания гармонии и ее недостижимости присутствует в таких работах, как портрет Л. Толстого (И. Крамской), портрет Ф. Достоевского (В. Перов).

Даже в такой изначально гармоничной и часто возвышенно-прекрасной сфере искусства, как музыка, обнаруживаем в аспекте обсуждаемой проблемы невероятные контрасты.

У такого выдающего мастера гармонии, как «сладкоголосый» П. Чайковский, контрасты, не внушающие надежд на переустройство мира, погружены в сказочную атмосферу, потому они и не выглядят пугающе («Лебединое озеро» с белым и черным лебедями, «Пиковая дама» с ужасом злобной и мистически опасной старости и властью безжалостной игры над душой). Особые выразительные средства применял к дисгармоничному миру трагикомически мысливший в мире звуков М. Мусоргский (таковы милые уродства в, казалось бы, безобидных и инфантильных «Картинках с выставки»).

В русской музыке органично и последовательно возникают неотвратимая, с наступательными интонациями написанная смерть (у разных персонажей, в разных изобретательно сформированных вариантах) в «Ромео и Джульетте» С. Прокофьева, наступление «вражьей силы» у Д. Шостаковича в 7 симфонии. Да и с самого начала развития музыкального профессионального искусства, с подъема музыкального сочинительства — у М. Глинки возникают попытки преодоления дисгармонии (имеем в виду не только мотивы политического противостояния в «Иване Сусанине» — важен музыкальный Черномор, опасное, хотя и крошечное существо).

Утверждение гармонии, красоты и ценности бытия сменяется у русских творцов разочарованием и чувством безнадежности. Как писал В. Мейерхольд о знаменитой постановке «Снегурочки» А. Островского в Художественном театре, «публика равнодушна и к красоте пьесы, и к тонкому юмору ее»; с горечью отмечал великий режиссер: «...на развалинах строя всей нашей жизни — мало призыва к одной лишь красоте...» (Мейерхольд, 1968: 80, 81) Здесь видим своего рода неформальный историко-культурный комментарий к проблеме, поставленной С. Никольским.

ЧАСТЬ 3. РУССКИЕ ФИЛОСОФЫ В ВЕКТОРЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА

В аспекте мировоззренческом и художественно-творческом нами особо отмечается попытка русских философов найти предложения, суждения, намеки или опровержения возможности пересоздания человека или социума.

Нет необходимости доказывать, что для российской интеллектуальной традиции всегда и определенно стоял вопрос о преодолении разлада и попытке трансформировать мир и человека в направлении их гармонизации. Философская мысль в России рубежа XIX–XX веков работала с понятиями, обозначавшими переходное, более того — кризисное состояние мира, социума, человека. Пророческое словосочетание В. Соловьева «симптом конца» связывалось с представлением не просто о прогрессе, но о его темпе; участник символического диалога испытывает тревогу, за которой стоит «как будто предчувствие какое-то зловещее» (Соловьев, 1990: 705, 735). Речь идет не о формировании или строительстве нового мира, а о жизненных утратах, об утрате, в частности, красоты и гармонии. «Дети конца» и «дети рубежа» видят одно и то же явление: как наличие, так и «симптомы конца» (*Соловьев там же*) — и считают характерным наступление *fin de siècle* (Бенуа, 1990: 47). Ситуация видится философу и участникам описанного им диалога безнадежной, она ужасает. Характерно, что одно из ключевых понятий конца эпохи — *хаос* — в этом контексте употребляется, например, Н. Бердяевым лишь в отрицательном значении.

В мире утрат, хаоса, распада (это, по-видимому, и есть те жизненные формы, которые востребуют пересоздание и перестроение мира и человека в позитивном направлении) жизнь отдельного человека, с точки зрения многих философов, не мыслится и не реализуется в формах, пригодных для жизни. Таково было солидарное мнение русских философов рубежа веков.

Одно из характернейших понятий у философов и художественных сочинителей рубежной эпохи — нервы. Они мучат человека не сами по себе; они, вернее «нервность», — проявление всеобщего состояния одиночества (напомним, что мотив одиночества как генетически детерминированного состояния русского человека мы рассматривали применительно к более раннему периоду, в связи с Тургеневым, подчеркивая всеобъемлющий его характер (Злотникова, 2018: 96-108)). А на рубеже веков Н. Бердяев, говоря о глобальности своего чувства одиночества, объясняет его отчуждением и от «объективного мира», и от самого себя: «Во мне самом мне многое чуждо» (Бердяев, 1990: 39, 40).

Возможно ли переустройство общества в условиях или применительно к русской провинции? Вопрос бытийный и в то же время весьма конкретный и обыденный. Вопрос, заключенный во внимании к провинции как к средоточию гармонии и в то же время как к миниатюрной модели мира, в котором гармония органична, она не задана и не сконструирована, да и вряд ли может быть актуализирована в силу разнообразия хронотопов.

К историческим концепциям русской провинции примыкают философские интерпретации, которые отличаются разнообразием и глубиной постижения культурного феномена. Так, к примеру, установлено, что провинция с ее несконструированной гармоничностью в России может пониматься как состояние души человека. Понимание провинции в ее условном значении вводит дополнительно такие характеристики, как замкнутость, ведущая к ограничению духовных интересов и проявлений, но одновременно и широта, включающая в себя микрокосм личности и макрокосм мира. Очевидно, о переустройстве в этом провинциальном мире говорить не приходится.

Возможно ли — продолжим мы задавать вопросы — переустройство такого чрезвычайно масштабного и многообразного в своих проявлениях феномена, как русская провинция?

Проблема, предложенная для обсуждения С. Никольским, если прежде всего иметь в виду переустройство социального пространства и пребывающего в нем человека, может быть косвенно, но определенно рассмотрена применительно к провинциальному бытию.

Рядом с социокультурным отмечаем нравственно-психологический аспект понимания русской провинции, который опирается на специфику российского менталитета с его гипертрофией житейского начала, высокой степенью субъективности, своего рода страстью к преувеличениям; эти особенности определяют также и политические идеалы,

и местные мифы. Но у нас есть существенные сомнения в возможности переустройства такого масштабного и явно неповоротливого колосса.

Наконец, рядом с проблематикой рубежа/кризиса эпох и с проблематикой провинции, не предрасположенной к переустройству, мы видим такой важнейший аспект российских представлений о возможности или бесперспективности переустройства мира и переформирования человека, как русский абсурд — основа и продукт переустройства. Мы писали об этой проблеме неоднократно, впервые обозначив ее еще в конце XX века (Злотникова, 1997: 36–66).

Н. Бердяев выступил своего рода теоретиком понятия очуждения (воспользуемся термином Б. Брехта) вообще и обозначил, в частности, механизм очуждения как психологическую проблему. В автобиографическом «Самопознании» он, человек живого и плотского восприятия мира, тем не менее констатировал: «Я испытывал не столько нереальность, сколько чуждость объективного мира... Во мне самом мне многое чуждо...» (Бердяев, 1990: 40, 49)

Русский абсурд во всей его дисгармоничности как культурфилософский феномен — это не отсутствие системы, а принципиально иная, чем это привычно, система. В ней люди отгорожены друг от друга особой стеной, в этой системе правят странные отражения (мотив зеркала и зазеркалья вовсе не только британский, но и русский) и двойники. Если в европейской традиции, в частности связанной с экзистенциальной философией, человек испытывает чуждость по отношению к другому, к миру Других, то в российской традиции утвердилось отвращение к себе, самоуничтожение. В таком случае художественное явление драмы дает художественное воплощение сарказма, проявленного «певцом» русской неленицы Салтыковым-Щедриным, заметившим, что «потребность самооплевания есть очень живая и притом законная потребность», которая, к ужасу нормального человека, «могла доходить до наслаждения своим безобразием и до привлечения к такому же наслаждению совершенно посторонних» (Салтыков-Щедрин, 1968: 263–264).

Таким образом, апеллируя к интеллектуальному и нравственно-психологическому наследию русских философов последних двух столетий, мы вынуждены признать, что идея переустройства мира и пересоздания человека не представляется осуществимой, хотя привлекательной и ностальгически значимой представляется с совершенной несомненностью.

Полагаю, самый непримиримый к окружающей действительности философствующий автор начала XX века — В. Розанов, почти во всем

видевший недоброе и негармоничное, а главное — не поддающееся пересозданию начало, странную субстанцию; он представил довольно характерные суждения не столько об отсутствии гармонии, сколько о невозможности и нежелательности пересоздания чего бы то ни было.

Но и куда более гармоничный философствующий автор Н. Бердяев говорит о власти пространств над русской душой — власти сильной и непреодолимой; Бердяев, у которого душа мала и по-своему целостна, потому она не подлежит пересозданию, как пересозданию не подлежат русские пространства.

И эти же пространства не подлежат не только пересозданию, но и хотя бы простому преодолению: именно об этом писал В. Соловьев в своем парадоксальном сочинении «Враг с Востока». К удивлению современных читателей, особенно молодых, более или менее политизированных, Соловьев писал не о национальных расприх, не о воинственных интенциях, не об этнической проблематике, а о природной реальности: он упоминал об иссушающих ветрах и вихрях песка, об иссушении самой русской почвы, об изменениях климата, задаваясь риторическим вопросом о том, как спасти русскую землю не от «мнимых супостатов», а от страшного природного врага — пустыни (Соловьев, 1990: 480–492).

Таким образом, обсуждая проблематику переустройства общества, С. Никольский справедливо апеллирует только к социуму в его более или менее организованном качестве; мы же считаем нужным подчеркнуть еще и географические особенности России с ее просторами и пространствами, с ее странностью взаимодействия частного человека (неважно, помещика или крестьянина, но — жителя) с труднопреодолимыми пространствами, воспринимаемыми то как прекрасные, то как мучительные. Мы, дополняя суждения коллеги, полагаем полезным и важным обратить внимание и на особенности природной реальности, которая в значительной степени обуславливала и по сей день обуславливает перспективы (и неполную возможность) социального переустройства.

ЛИТЕРАТУРА

- Бенца А. Н.* Мои воспоминания. В 5 т. Т. 2. — М. : Наука, 1990.
- Бердяев Н. А.* Самопознание : опыт философской автобиографии: курс лекций. — М. : Международные отношения, 1990.
- Злотникова Т. С.* Антон Чехов, интеллигент из провинции // Мир русской провинции и провинциальная культура / под ред. Г. Ю. Стернина. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1997. — С. 36–66.

Злотникова Т. С. Культурфилософский смысл мотива одиночества : личность и творчество И. С. Тургенева // *Философские науки*. — 2018. — № 7. — С. 96–108.

Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть 1 : 1891–1917. — М. : Искусство, 1968.

Никольский С. А. Горизонты смыслов. Философские интерпретации отечественной литературы XIX–XX вв. — М. : Голос, 2015.

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений. В 20 т. Т. 6. Наша общественная жизнь : статьи: 1863. — М. : Художественная литература, 1968.

Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 2. — М. : Мысль, 1990.

Zlotnikova, T. S. 2023. "Mysl' o pereuroystve mira i peresozdaniy cheloveka [The Idea of the Reconstruction of the World and the Re-Creation of Human]: filosofskaya i khudozhestvennaya paradigma [A Philosophical and Artistic Paradigm]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 7 (3), 266–277.

TAT'YANA ZLOTNIKOVA

DOCTOR OF LETTERS IN ART HISTORY, HONORED SCIENTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION, PROFESSOR OF THE DEPARTMENT OF CULTURAL STUDIES, SCIENTIFIC DIRECTOR OF THE NATIONAL RESEARCH CENTER

YAROSLAVL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER K. D. USHINSKY (YAROSLAVL, RUSSIA);
ORCID: 0000-0003-3481-0127

THE IDEA OF THE RECONSTRUCTION OF THE WORLD
AND THE RE-CREATION OF HUMAN
A PHILOSOPHICAL AND ARTISTIC PARADIGM

DOI: 10.17323/2587-8719-2023-3-266-277.

REFERENCES

- Benua, A. N. 1990. [in Russian]. Vol. 2 of *Moi vospominaniya [My Memories]*. 5 vols. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Berdyayev, N. A. 1990. *Samopoznaniye [Self-Knowledge]: opyt filosofskoy avtobiografii: kurs lektsiy [The Experience of Philosophical Autobiography. A Course of Lectures]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Mezhdunarodnyye otnosheniya.
- Mejyerkhol'd, V. E. 1968. *Stat'i. Pis'ma. Rechi. Besedy. Chast' 1 [Articles. Letters. Speeches. Conversations. Part 1]: 1891–1917 [1891–1917]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Iskustvo.
- Nikol'skiy, S. A. 2015. *Gorizonty smyslov. Filosofskie interpretatsii otechestvennoy literatury XIX–XX vv. [Horizons of Meanings. Philosophical Interpretations of Russian Literature of the XIX–XX Centuries]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Golos.

- Saltykov-Shchedrin, M. Ye. 1968. *Nasha obshchestvennaya zhizn' [Our Public Life]: stat'i: 1863 [Articles: 1863]* [in Russian]. Vol. 6 of *Sobraniye sochineniy [Complete Works]*. 20 vols. Moskva [Moscow]: Khudozhestvennaya literatura.
- Solov'yev, V. S. 1990. [in Russian]. Vol. 2 of *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*. 2 vols. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- Zlotnikova, T. S. 1997. "Anton Chekhov, intelligent iz provintsii [Anton Chekhov, an Intellectual from the Province]" [in Russian]. In *Mir russkoy provintsii i provintsial'naya kul'tura [The World of the Russian Province and Provincial Culture]*, ed. by G. Yu. Sternina, 36–66. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Dmitriy Bulanin.
- . 2018. "Kul'turfilosofskiy smysl motiva odinochestva [The Cultural and Philosophical Meaning of the Motif of Loneliness]: lichnost' i tvorchestvo I. S. Turgeneva [The Personality and Creative Work of I. S. Turgenev]" [in Russian]. *Filosofskiyе nauki [Russian Journal of Philosophical Sciences]*, no. 7, 96–108.